



ТОМАС МАНН

Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма

<Фрагменты>

Штетцер

Еще в начале нашего столетия в Веймаре жил человек по имени Юлиус Штетцер и по профессии учитель, который, будучи шестнадцатилетним школьником, гимназистом, обитал под одной кровлей с доктором Эккерманом, всего в нескольких шагах от дома Гете.

Штетцеру вместе с приятелем — своим однокашником и соседом по квартире — не раз случалось с замиранием сердца следить за мерцающим светом в окне и за тенью, которую отбрасывала фигура старца, сидевшего у стола. И вот, сгорая от желания хоть раз увидеть его совсем близко, мальчики обратились к соседу, самому приближенному человеку в том доме, и стали молить оказать им такую милость и помочь исполнить мечту. Эккерман, человек по природе доброжелательный, в один прекрасный летний день впустил мальчиков через боковую калитку в сад знаменитого дома, и там они стояли, робея, и поджидали Гете, который, к их ужасу, действительно появился: в светлом домашнем сюртуке, — вероятно, в том самом фланелевом шлафроке, который всем нам так хорошо знаком, — прогуливался он в этот час по саду и, завидя подростков, подошел к ним, остановился, благоухая одеколоном, разумеется, заложив руки за спину и несколько откинувшись назад, с тем выражением имперского синдика, которое, как нам доподлинно известно, скрывало смущение, и спросил, как их зовут и что им здесь надобно; вероятно, оба эти вопроса он задал один за другим, без всякой паузы, почему они, надо полагать, прозвучали весьма строго, и, разуме-

ется, остались без ответа. Наконец мальчишки что-то пробормотали, а старик посоветовал им учиться прилежно, что они, должно быть, истолковали так: уж лучше, чем болтаться здесь, шли бы да садились за свои уроки, — и проследовал дальше.

Вот как все это было в 1828 году. Тридцать три года спустя Штетцер, который тем временем стал хорошим, преданным и любящим свое дело учителем средней школы, только что собирался начать урок во втором классе, как вдруг дежурный старшеклассник просунул голову в дверь и доложил, что какой-то иностранец желает видеть господина Штетцера. И тотчас же в класс вошел иностранец, казавшийся значительно моложе учителя; у него была небольшая борода, выступающие скулы, маленькие серые глаза и глубокие морщины меж темных бровей. Без долгих церемоний он, не здороваясь и не представляясь, сразу спросил, чем будут заниматься нынче; узнав, что сначала историей, а потом немецким, он нашел, что это превосходно, и добавил, что побывал уже в школах Южной Германии, Франции и Англии, а теперь хочет познакомиться и со школами Северной Германии. Говорил он по-немецки как немец. Видимо, он был учителем — судя по осведомленности и интересу, с которым он задавал вопросы и делал замечания, непрерывно записывая что-то в блокноте. Иностранец остался присутствовать на уроке. Когда дети написали сочинение, письмо на какую-то заданную тему, иностранец попросил разрешения взять эти «произведения», с тем чтобы сохранить их, — для него они представляют большой интерес. Штетцеру это показалось прямо-таки смешным. Да и кто возместит детям стоимость их тетрадей? Веймар был бедным городом... Он вежливо дал это понять гостю. Но иностранец возразил, что такому горю помочь нетрудно, и вышел. Штетцер пригласил в класс директора. Происходит нечто необычное, — сказал он. И был прав, хотя лишь впоследствии смог окончательно убедиться, насколько суждение его было справедливо. Ибо в тот миг, когда иностранец вернулся, неся пакет писчей бумаги под мышкой и, представляясь ему и директору, назвал свое имя: «Граф Толстой из России», — в тот миг имя это не произвело на Штетцера особого впечатления. Но учитель дожил до преклонного возраста и, следовательно, успел узнать, с кем именно он тогда познакомился...

К вопросу о рангах

Итак, этот человек, который проживал в Веймаре с 1812 по 1905 год и чья жизнь протекла, вероятно, самым заурядным

образом, мог похвастать удивительным преимуществом — личным знакомством с Гете и Толстым, двумя великими людьми, которым посвящен этот очерк. Да, Толстой был в Веймаре! В возрасте тридцати трех лет (он родился в тот самый год, когда состоялась беседа юного Штетцера с Гете), Лев Николаевич приехал в Германию из Брюсселя, где, во-первых, виделся с Прудоном, убедившим его, что *la propriété c'est le vol* (*собственность — это кража — франц.*), и где, во-вторых, написал рассказ «Поликушка», — приехал в Германию и посетил город Гете. В качестве знатного иностранца и гостя русского посла он получил доступ в дом на Фрауенплане, тогда еще не открытый для широкой публики. Рассказывают, однако, что он гораздо больше заинтересовался фребелевскими детскими садами, — ими руководила ученица самого Фребеля, чью педагогическую систему гость изучал с жадным интересом.

Вы, вероятно, понимаете, для чего я рассказываю все эти истории. Мне хочется оправдать союз «и», который стоит в заголовке моего доклада, — разумеется, увидев его, вы изумленно вскинули брови. Гете и Толстой — не правда ли, какое в высшей степени необычайное, произвольное и странное сочетание? Ницше как-то бросил упрек нам, немцам, в особой бестактности, с которой мы употребляем союз «и». Мы говорим «Шопенгауэр и Гартман», — так издевался он; мы твердим «Гете и Шиллер», и он опасается, как бы мы, чего доброго, не сказали еще «Шиллер и Гете».

Впрочем, оставим в покое Шопенгауэра и Гартмана. Что же касается Гете и Шиллера, то надо сказать, что неприязнь, которую Ницше питал к драматургу и моралисту, не должна бы заставить его отрицать братскую близость между обоими, — ведь эта близость не потерпела ни малейшего ущерба от неразрывно с ней связанной и ярко выраженной антагонистичности обеих натур, и она нашла лучшего своего защитника именно в якобы обиженной стороне. Ницше весьма опрометчиво и произвольно высмеял союз «и» установив, тем самым, вернее, даже провозгласив уже существующим, некий табель о рангах, который в высшей степени спорен, — может быть, это и вообще одна из самых спорных вещей на свете. Опрометчивость в решении этого вопроса отнюдь не в немецком характере. Немец инстинктивно не желает признавать преимущества за какой-либо одной стороной, он предпочитает неукоснительно проводить политику «свободы выбора», и наши последующие рассуждения направлены, в сущности, на прославление как раз этой политики, — они открывают перед ней самые лучшие возможности. Лишь такая политика и прида-

ет смысл связке в словосочетании «Гёте и Шиллер», противопоставляя в нашем сознании как раз то, что их объединяет. Нужно не иметь ни малейшего представления о круге идей, содержащихся в некоем классическом и исчерпывающем немецком теоретическом труде (по существу, включающем все остальные теоретические труды, которые вследствие этого как бы становятся излишними) — я имею в виду работу Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии, — чтобы не увидеть в этом «и» глубочайшую антитезу. Существует еще одно «и», чуждое и далекое, имеющее подобный же смысл: «и» между Толстым и Достоевским. Но если лишить союз «и» права на противопоставление, если признать единственной его задачей только утверждение духовного родства, духовного тождества, — что тогда? Не произойдет ли тогда в нашем сознании мгновенной перестановки, мгновенной перемены местами между великими парами, названными мною? Не объединятся ли тотчас же, в силу глубоких духовных, нет, лучше сказать, глубоких естественных причин, о одной стороны Шиллер и Достоевский, а с другой — Гете и Толстой?

Вы, очевидно, все еще никак не можете удовольствоваться моим объяснением. Вы возражаете: но ведь, кроме сущности, есть еще и понятие ранга. Противопоставляйте сколько угодно, — скажете вы, — но величины, принадлежащие к различным категориям, не следует даже противопоставлять. Что же, давайте отбросим то, что один был европейским гуманистом и закоренелым язычником, а другой — анархистствующим апостолом восточного мира, проповедником раннего христианства. Но немецкий поэт мирового значения, имя которого мы произносим наряду с самыми избранными, с именами Данте и Шекспира, — и автор натуралистических романов, который совсем недавно, уже на нашей памяти, чрезвычайно загадочно кончил свою загадочную жизнь; нет, негоже говорить о них рядом, это оскорбляет наш аристократический инстинкт, это просто безвкусно.

Оставим пока в стороне вопрос, который вам угодно игнорировать, — язычество одного и христианство другого! Быть может, у нас еще будет время к нему вернуться. Но, что касается «аристократического инстинкта», как вы изволили выразиться, то я желаю заявить без всякого промедления: именно его я не только не оскорбляю моим сопоставлением, но, напротив, возвожу на недостижимую высоту. Табель о рангах, иерархия знаменитостей? Уверены ли вы, что вас не ввела в обман перспектива, из которой вы смотрите на них, или что-либо другое? Тургенев в своем последнем письме к Толстому, в том письме, которое

он написал в Париже на одре смерти, заклиная друга бросить религиозное самоистязание и вернуться к искусству, к литературе, — Тургенев первый дал Толстому титул «великого писателя русской земли», титул, который с тех пор так за ним и остался, и который с очевидностью подтверждает, что Толстой для своей страны и своего народа имеет примерно то же значение, что для нас автор «Фауста» и «Вильгельма Мейстера». Что же касается самого Толстого, то, как вы изволили заметить, он был христианином до мозга костей, но все же не в такой степени, чтобы страдать преувеличенным смирением, и он имел смелость ставить свое имя рядом с самыми великими, с легендарно великими именами. О «Войне и мире» он говорил: «Без ложной скромности — это как «Илиада». По словам некоторых лиц, он то же самое говорил о первенце своем — о «Детстве и отрочестве». Не кажется ли это манией величия? По правде говоря, мне лично эти слова представляются чистейшей правдой. «Только нищие духом, — говорит Гете, — всегда скромны». Языческая сентенция! Но Толстой вполне разделял это мнение. Его взгляд на собственную личность всегда отличался исторической широтой, и, когда ему минуло всего-навсего тридцать семь лет, он уже причислил в своих дневниках все свои произведения, не только те, которые уже были написаны, но и те, которые он еще только задумал, к прославленнейшим произведениям мировой литературы.

Итак, «великий писатель русской земли», согласно самой авторитетной оценке, Гомер своего времени, согласно собственному суждению, — но и это еще не все. После смерти Толстого Максим Горький опубликовал небольшую книгу воспоминаний о нем, лучшую свою книгу, насколько я смею судить. Она заканчивается словами: «А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немного боязливо, смотрю и думаю: “Этот человек — богоподобен!”»

Богоподобен! Это примечательно! О Достоевском никто и никогда так не говорил, так не думал. Да никто и не мог бы никогда так сказать, так подумать о нем. Достоевского называли святым, и можно с полнейшей искренностью так же назвать Шиллера, правда, не в столь византийски-христианском смысле, но все же в христианском смысле, бесспорно присущем этому слову. А вот в Гете и Толстом, именно в них обоих, видели божества. Эпитет «Олимпиец» давно уже стал избитым. Но ведь божественным называли не только всемирно прославленного старца, — нет, даже когда он был в расцвете сил и лет, даже когда он еще был юношей с колдовскими глазами, со взором божества, как го-

ворил Виланд, ему уже тысячи раз приходилось слышать этот эпитет из уст своих современников, и Ример рассказывает, как шестидесятилетний поэт, горько шутя на сей счет, по какому-то поводу воскликнул: «Плевать мне на божественность! Что толку в том, если про меня говорят «он божественный», раз все поступают, как им заблагорассудится, и всегда меня надувают. Люди считают божественным только того, кто каждому предоставляет поступать, как ему нравится». Что касается Толстого, то он был не олимпийцем и уж во всяком случае не гуманистическим божеством. Скорее он был, говорит Горький, таким русским богом, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой», то есть языческим на другой манер, чем Юпитер из Веймара, но все-таки языческим, ибо все боги — языческие. Почему? Да потому что они подобны природе. Потому что не надо быть последователем Спинозы, как Гете, сознательный спинозист, чтобы видеть в боге и природе единое целое, а в избранности — дарованное природой, божественное свойство. «Его непомерно разросшаяся личность — явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит», — так говорит Горький о Толстом. И я привожу эти слова потому, что мы вели речь о иерархии знаменитостей. Горький, например, говорит еще: «В нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек — человек человечества». Это будит в нас воспоминания. О ком?

Нет, при моем сопоставлении табель о рангах, духовный «аристократизм», иначе говоря знатность, отнюдь не становится проблемой. Он становится таковой только при иной расстановке фигур, только когда мы привлекаем сюда святое человеческое начала и при помощи противопологающего «и» противопоставляем его божественному, когда мы говорим «Гете и Шиллер», «Толстой и Достоевский». Только здесь, как мне кажется, возникает эстетическо-моральная проблема: «Что значит — более знатный? Кто более знатный?» На этот вопрос мы не можем найти общий ответ. Предоставим же каждому, согласно собственному вкусу, или, выражаясь не столь поверхностно, согласно собственному пониманию гуманности, ответить, кто же именно стоит на более высокой ступени, но, прибавим мы вполголоса, понятие гуманности неизбежно должно и впредь оставаться для нас неполным и односторонним, — иначе мы не отважимся на решение поставленной проблемы. <...>

Последний фрагмент

Прекрасна решимость. Но плодородна и творчески плодотворна лишь оговорка, и только она и составляет наш художественный принцип. Мы любим ее в музыке за мучительную радость, которую дарит нам выдержанный звук, за томительное поддразнивание тем, чего еще нет, за тайную нерешительность души, в которой заключено уже разрешение, исполнение, гармония, но которая все еще чуть-чуть оттягивает, откладывает, задерживает, еще чуть-чуть медлит в блаженстве, прежде чем отдаться себе целиком. Мы любим ее в области духа, где она выступает в обличив иронии, — иронии, направленной в обе стороны, когда, лукавая баловница, но все-таки ласковая, она резвится между контрастами и не спешит встать на чью-либо сторону и принять решение: ибо она полна предчувствия, что в больших вопросах, в вопросах, где дело идет о человеке, любое решение может оказаться преждевременным и несостоятельным, и что не решение является целью, а гармония, которая, поскольку дело идет о вечных противоречиях, быть может, лежит где-то в вечности, но которую уже несет в себе шаловливая оговорка по имени Ирония, подобно тому как задержание несет в себе разрешение. Мы предоставили ей все возможности на предыдущих страницах, ей, этой «бесконечной» иронии, и теперь судите сами, какой из сторон она отдает предпочтение, кого в этом вечном противоречии она осуждает, и сделайте выводы, но только не заходите в них слишком далеко!

Ирония — пафос середины... Она и мораль ее, и этика. Мы уже говорили, что поспешность в решении вопроса об аристократизме — включая в эту формулу весь комплекс контрастных ценностей, которые мы также подвергли рассмотрению, — не свойственна немцам. Этому срединному народу — «гражданину мира» — пристали пафос и мораль, соответствующие его положению; я слышал, что в еврейском языке слова «познание» и «уразумение» происходят от того же корня, что и слово «между».

Немецкий писатель, который неотступно бьется над проблемой благородства, проблемой аристократизма, предпринял, разумеется, очень дерзкий, зато очень остроумный филологический эксперимент, попытавшись произвести имя немецкого народа от «народ Тиуше», от «народ-обманщик». Народ, обитающий в самой сердцевине буржуазного мира, это народ-обманщик, народ-хитрец; с иронической оговоркой поглядывает он на ту сторону и на эту, и мысль его беспардонно и весело резвится между

противоречиями, пока сам он сохраняет свою мораль, нет, благочестие, свойственное именно «между», свою веру в познание и разум, в общечеловеческое воспитание.

Благодатная трудность середины, ты и свобода и оговорка! Нас вечно попрекают тем, что «политика свободы выбора» довела нас практически до несчастья! Эта практика очень сомнительна, да и несчастье в высшей степени тоже; гораздо вероятней, что оно пошло на благо нам. И мы так мечтали о нем, как никогда не мечтают о своем «счастье»! Впрочем, ханжеское смирение перед неудачей несколько не благородней, чем ханжеское смирение перед успехом; и только культ неудачи мог бы пошатнуть нашу веру в закономерность и священную предопределенность политики духа, потребность которой в свободе и в иронической оговорке отнюдь не являются высшим смыслом и самоцелью, но сами подчиняются высшему средоточию и гармонии, чистой человеческой идее.

Взаимность сентиментального томления (ведь мы установили, что сентиментален не только дух), стремление детей духа к природе, детей природы к духу, свидетельствует, что цель, стоящая перед человечеством, — это высшее единение, и человечество, воистину высший носитель всех стремлений, окрестило его собственным своим именем — *humanitas*. Инстинкт, повелевающий немцам сохранять свое положение срединного народа, — он и есть истинно национальное чувство. Именно так называем мы жажду свободы и стремление народов к самопознанию и самоусовершенствованию. А художник работает усердно и прилежно и, кажется, думает лишь о том, чтобы вырвать из камня свое создание, сокровеннейшую свою мечту, и вот наступает потрясающий и священный час, и он понимает, что одержимость его была из гораздо более чистого источника, что он создал своим резцом гораздо более высокое произведение.

Народ и человечество! Некий ум с Востока, один из провозвестников, который, подобно Гете, Ницше, Уитмену, рано узрел медленно разгорающийся свет новой веры, Дмитрий Мережковский, сказал, что в животном начале заключено и животное-человек и животное-бог. Человечество еще почти не постигло сущности животного-божественного; однако только слияние животного-божественного с богочеловеком и принесет когда-нибудь избавление роду человеческому. Это «когда-нибудь», эта идея искупления, теперь уже не христианская и не языческая, несет в себе решение проблемы аристократизма, так же как несет в себе оправдание, нет, освящение иронической оговорки, позволяю-

щей нам проникнуть в суть вопроса, — что же является наивысшей ценностью.

Мы простодушно изложили наше мнение о великих характерах и создателях пластических образов, о детях божества, в которых жило столь сильное животное-божественное начало — народ, бытие, покой, женщина, и мы с упоением взирали на мудрость мирового духа, который очеловечил их рвущуюся к исповеди поглощенность собственным «я», переплавив ее в педагогическое стремление. И мы робко прикоснулись к богочеловеческой сфере их патетических партнеров, мужей дела, сынов духа, недужных святых. Истина, провозглашенная русским, согласно которой человечество еще почти не проникло в природу животное-божественного, могла бы придать нам смелость провозгласить, что природа ироническим образом взыскала особой своей милостью сынов духа, которые, по существу, «не способны любить никого, кроме самих себя». Но мы хорошо знаем, что никому не дано решить, какой же из двух типов избранных призван внести наивысший вклад в создание безмерно любимого образа совершеннейшей человечности.

